

Автор этих воспоминаний о Владимире Федоровиче Тендрякове (1923—1984) — его ученик, ленинградский писатель Геннадий НИКОЛАЕВ, автор повести «Артиста», «Большой дрозд», «Лешка», романа «Город без названия».

ОН БЫЛ дерзким, нетерпеливым, задиристым. У него был талант задевать за живое, не оставляя человека равнодушным. Он и меня задел за живое, когда мы впервые «сошлись» — и заспорили: кому живется весело, вольготнее на Руси? И спор этот, мой внутренний разговор с Владимиром Федоровичем продолжался почти двадцать лет.

Почему спор? И почему внутренний? Разве нельзя было поспорить, поговорить в открытую? Можно было, говорили, спорили, даже сердились друг на друга, и все же был и внутренний спор. На то были свои причины. Не так-то просто было спорить с Владимиром Федоровичем. Он забывал эрудицией, логикой, молниеносной реакцией. Не всегда удавалось угнаться за его мыслью. Поэтому с самой первой нашей встречи в конце мая 1965 года в Иркутске, куда Владимир Федорович, ожидавший прибавления семейства, был «сослан» близкими, чтобы «не мешал» (эта шутка потом часто повторялась в большой, дружной и счастливо одаренной семье Тендряковых-Асмоловых), а на самом деле прилетел в командировку на Байкал от «Правды», и до последней — в апреле 1983 года у нас в Ленинграде — все эти годы я как бы готовился к спору с Владимиром Федоровичем, приподнимался до него, подтягивался, пытался угнаться. По всякий раз, когда, как мне казалось, я готов был схватить и являлся с копьем, в лапах и при щите, он обрушивал на меня нечто новое, неожиданное, ошеломляющее, и я тихо складывал себе «оружие» — мои заготовленные монологи либо отпадали совсем, либо обретали потом форму писем к нему.

По сути, он был моим учителем: в литературе, читал все, что было мною написано — от первых беспомощных рассказов до только что вышедшего романа «Город без названия», которому дал доброе напутствие при публикации отрывка «Литературной газетой». Он никогда не кривил душой, не золотил плечу, если вещь ему не нравилась. Его разборы были страстны, горячи, продирали до живого, но тут же, после «трепки», он как с равным обсуждал замыслы и планы — свои замыслы, свои планы! — делаясь сомнениями, спрашивал совета. Без сомнения, в нем был заложен талант учителя, но проявлялся он в мягкой, деликатной форме. При всей своей нетерпимости в спорах и резкости в оценках он был весьма деликатный человек. Ни разу я не заметил у него даже намека на менторство.

И все-таки почему всегда или почти всегда возникало

Владимир  
ТЕНДРЯКОВ:

# ДЛЯ ЭТОГО

# СУЩЕСТВУЮ

желание спорить с Владимиром Федоровичем, возражать ему? Думаю, что дело тут в столкновении нашего более или менее традиционного мышления с его остро нетрадиционным. Его ум не признавал догм, устоявшихся представлений о мире, о человеке, о социальных системах, он постоянно сомневался, вопрошал, искал ответы, строил свои собственные модели. Высшим авторитетом для него была истина, выведенная из опыта и освещенная светом идеи. Да, он был коммунистом, пламенным коммунистом, и его пламень нередко обжигал до личной обиды людей прохладных, равнодушных, пугливых. Он зорко видел в жизни недостатки и страдал от них, беды страны были его личными бедами, и он всю мощь своей природы — ума, характера, таланта — отдавал поискам решения этих противоречий, путей, которыми следует идти.

«...В СЮ ЖИЗНЬ я слышал настойчивое: «Коммунизм зримо виден, он на горизонте!»

«...Даже прямые противники коммунизма признают, что есть высшее проявление коллективизма. Коллективизм же в свою очередь предусматривает наличие взаимодействия, взаимосодействия, взаимосодействия, а значит — содружества, спаянности людей, немислимое без взаимопонимания».

«...Для меня — внимание к личности со стороны общества это и есть коммунизм».

«...Не хочу убеждать тех, кто подвержен любой крайности. Тех, кто уж такой «сверхобщественник», что готов пренебречь во имя общества и личностью. И тех, кто во имя личного готов жертвовать общим. Один другого стоит, похожи друг на друга, как матрица и оттиск».

Кем это написано? Публицистом? Социологом? Ученым? Это написано В. Ф. Тендряковым «для души», а точнее — для всех! С какой жадностью следил он за развитием подрада, коллективных форм управления в на-

шей стране! Как радовался успехам! Как огорчался неудачам! И думал, думал, думал. Думал о том, как перестроить механизм отношений между людьми в процессе труда, улучшить общественную структуру. Он очень хотел, чтобы люди — не только отдельные счастливицы, но все люди, массы! — почувствовали себя хозяевами своего дела, вышли бы из состояния равнодушных исполнителей

шая ложь, на которую клюют скудоумные простаки. Пропавшей, разделяющих человеческое сообщество, при капитализме стало, пожалуй, больше, чем при феодализме.

Сравнивать эти пропасти, заставить людей внимательно вглядываться друг в друга... нельзя сомневаться, что будущее человечества — в упрощении коллективизма. А предельное внимание общества к личности — это и есть, на-

я тебе упоминал? Дотянись, прочти — кой-что пробивается, оно наверняка будет глотать, затапываться, но снова выплывать. Мой покойный товарищ Ал. Ник. Леонтьев про свою науку говорил: «Психология — наука XXI века». Думается, практическая социология — тоже!»

ПРАКТИЧЕСКАЯ социология — вот как сам Владимир Федорович определил то, что его увлекало все больше и больше. «...С тех пор, как мы сидели нос к носу, я кончил одну вещь, которую для себя считаю «завещанной от бога». К худ. литературе она не имеет никакого отношения», — признавался он в письме, ко мне от 20 сентября 1980 года. «Завещанной от бога! О том, что практическая социология

вал. Он остро чувствовал новое, стремился отыскать под шелухой обывательской жизни это новое и показать его становление в корчах и муках борьбы со старым, отживающим. Он был, пожалуй, самым диалектическим писателем из всех известных мне. И самым беспокойным, самым динамичным в своем творческом развитии, в развитии своего метода, который можно определить как наложение действительности на высший идеал. Вспомните его вещи. Герои, которых он любит, всегда в развитии — Женька Тулупов («Три мешка сорной пшеницы»), Дюшка Тягунов («Весенние перевертыши»), Федор Материн («Свиданье с Нефертити»), Игнат Гмызин и Саша Комелев («Тугой узел»), Сергей Лыков («Кончина»), Андрей Бирюков («За бегущим днем») и т. д. В непрестанном внутреннем движении был автор, вместе с ним в движении его лучшие герои и вся его проза. За двадцать лет он проделал путь от «обычной», реалистической прозы до прозы философской, включающей в себя повесть-диспут, повесть-проблему, повесть-сатиру, повесть-фанта-

статей, из тех, которые доходили до него, а специально от них никогда не собирал, не трогали его, казались поверхностными. Он не находил там достаточной пищи для размышлений. Ведь его мысль — всегда начеку, настороже, готовая ухватить любой намек, любой толковый довод или контрдовод, — была в упорном, безостановочном поиске. Что он искал, за что ратовал? Почему не мог, как многие другие писатели, довольствоваться тем, что делал как прозаик? Ведь его печатали, хотя и не так легко, как хотелось бы. О нем писали, хотя и не совсем так, как следовало бы, учитывая всю глубину его прозы. Но все-таки выходили и книги, и собрания сочинений, и статьи о нем. В чем же дело? Думаю, дело как раз в том, что писатель Тендряков жаждал не просто сказать людям правду о них, но и практически помочь им найти путь к лучшей жизни, к жизни сознательной, достойной, к жизни высокой. Будучи феноменально честным и совестливым человеком, он не мог позволить себе, даже из благих намерений, одурачивать людей, создавать настроенные благодушия и самоуспокоенности при наличии в обществе, в мире вообще острейших проблем. Из сегодняшнего круглого, княщего противоречиям времени он устремлен был в будущее. Он яростно (другого слова просто нет), яростно работал ради этого будущего и, естественно, менялся сам. Он развивался от нетерпимости, от прямого, порой резкого протеста — через напряженнейшую внутреннюю работу души и ума — к постижению многозначности мира, диалектического единства противоположностей, а отсюда — к пониманию и большей терпимости.

«...И СХОЖЕННЫЙ, излазанный, обжитой кусок стены — мы покидаем его. Назад! Назад! — нарастало!

Неясные слухи — где-то прорвали...

Ешкин: — Умереть за страну — для этого существу. Я из породы (династии) военных.

Умереть не трудно, трудно победить».

Торопливая, конспективная какая-то, на первый взгляд, путаная запись на листке. Листок передо мной на столе в его кабинете. Рядом с листком простые наручные часы со стальным браслетом — стрелки мертвенно недвижны, в окошечке циферблата — 5. Его сердце остановилось третьего августа, часы «бежали» еще почти двое суток...

На столе часы, маленькое увеличительное стекло, карандаши, фломастеры, скрепки, ножичек, письма, рукописи, книги и — листок. Наспехчи-то телефоны, фамилии, закорючки, чертики, что-то невнятное и вдруг это: «...Ешкин: — Умереть за страну — для этого существу...» Кто такой Ешкин — не знаю, но

догадываюсь: персонаж из цикла военных рассказов, которые давно задумал и стремительно, с огромным желанием писал Владимир Федорович в последнее время. Завершенных, увы, немного. Один передо мной. Читаю, обдумываю пометки на полях — сделаны в редакции журнала «Дружба народов», два рассказа берут в первый номер будущего года...

«...УМЕРЕТЬ ЗА СТРАНУ — ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЮ...» Так можно бы назвать книгу о Тендрякове. Он не собирался умирать, был жизнелюбивым, крепким человеком, бежал по утрам обязательно десять километров — казалось, ничто не способно было сокрушить его. Но его труд, поистине без пощады к себе, не свидетельствует ли скривотой, неведомой даже ему горючности «умереть за страну», высокой трагичности его судьбы? Не из породы военных, но из породы бойцов — несомненно!

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ наблюдать его близко, в непрестанном развитии, в напряженном поиске и внутренней борьбе. Борьбе с опутывающими нас привычными представлениями и соблазнами уютного существования по принципу «шагай в ногу, не высовывайся» — не самая ли это трудная борьба из всех видов борьбы, выпадающих на долю думающего человека!

«Свой талант надо сначала оторвать, — говорил он мне как-то. — Прорваться к себе самому, к своей сути, а уж потом разрабатывать. Прорваться надо, понотеть!» Труд и эта внутренняя мучительная борьба стали его повседневной необходимостью. Это был редкий трудолюбивый человек, выдающийся труженик! Только опубликованная проза могла бы составить сегодня восемь томов! А оригинальная драматургия! А публицистика! А литературно-критические статьи, рецензии, отзывы! А проза, которая ждет публикации, — тоже целый том! А письма! Да и не в количестве дело...

Владимир Федорович был человеком горячего сердца и столь же горячего, яркого темперамента. Он казался мне мощной живительной рекой, которая несла, сама себе прокладывая дорогу, согревая и высветляя тех, кто приближался к ее берегам. Когда-то приближился к этой реке и я, незаметно вошел в нее, поплыл с тисом, в ней, стремясь к самому центру, к самому стрелю, где все бурлило, хлопотало и порой крепко обжигало.

Мы едем слишком близко, нам еще больно, еще саднит свежая рана — нужно время, надо отшагать какой-то путь, чтобы отодвинуться, отойти подальше и охватить мыслью и душой могучую фигуру ушедшего от нас художника, мыслителя, бойца — всю, во всем истинном масштабе и значении.

Геннадий НИКОЛАЕВ



указаний / вышестоящих инстанций, проявили разум, душу, интерес. Хотел, чтобы это случилось быстрее, при нем, сейчас! Поэтому откладывал прозу, брался за Маркса, Энгельса, Ленина, не робел задавать вопросы величайшим умам! Спрашивал, думал, искал ответы. Ленинские книги в его кабинете в Пахре испещрены пометками, вопросами, белеют от закладок.

«Ездил в Узбекистан, видел там не только много интересного, но даже и кой-что полезное, — писал он мне 27 января 1972 года. — Пытаюсь об этом говорить. И опять слышу озадаченное кряхтение, опять не печатают! Но это особый разговор». Это был, пожалуй, самый первый слабенький росток коллективного подрада на узбекской земле, и Владимир Федорович тотчас откликнулся ярким очерком «Новый час древнего Самарканда» — пока единственная опубликованная работа из этого цикла.

«...Мы часто любим говорить высоким стилем о внимании к человеку, — писал он в этом очерке. — Внимание. А что это, собственно, такое?... Наверное, истинное внимание к человеку — это стремление понять, что он такое, чем живет, на что способен, какие нужды и запросы у этого конкретного человека и личностью. Внимание к человеку. Это, извините, уже не просто достижение в производстве материальных благ, это нечто большее. Капитализм в производстве благ — не откажешь — достиг огромных успехов, во внимании к человеку — нет! Живи сам для себя, рассчитывая сам на себя, сосед не обязательно должен понимать нужды соседа, и «возлюби ближнего своего» — не что иное, как благостная, изрядно вылиня-

верное, навывший коллективизм. Добавив, человеческий коллективизм, а не муравьиной кучи».

«Я не верю, что природа придерживается строго разграниченного чередования — мол, за покоем следует гроза, с грозой непременно солнечная погода, — писал он мне 5 сентября 1981 года. — Но одно несомненно — одну ноту природа долгот не тянет, отчаянье не может длиться бесконечно, какими-то надеждами должно сменяться. И то, что XXI век — он рядом, заносим ногу на его крыльцо! — не будет напоминать наш ожесточенный XX — это можно утверждать почти с уверенностью. Сейчас я шарю и шупаю по закоулкам нашего грешного времени — не растет ли что полезное? Кажется, нахожу! Прочитал ли ты книгу А. Левикова «Калужский вариант», о которой

становится в его жизни главным делом, он не раз говорил и мне, и при мне другим. Может быть, поэтому с годами в его прозе начинает преобладать суть над формой? Может быть, поэтому, экономя время, он ищет наискратчайшие пути для выражения своей главной мысли, не очень-то беспокоясь о «красотах» языка? Может быть, отсюда и предельно отточенная форма «повесть-диспут»? Лаконизм его повестей достигает предела, мысль обижается, главное теперь — истина! Нередко, особенно среди критиков, раздавалось недоуменное: что случилось с хорошим прозаиком? Куда его «заносит»? И когда он наконец вернется к «обычной» своей прозе?

А Тендрякова нигде не заносило, он шел своей собственной дорогой, той единственно возможной, которая перед ним открывалась, вернее, которую он сам себе пробив-

анию. Он сжимал объемы своих вещей, усложнял и одновременно уплотнял действие, добивался предельной ясности противоборствующих концепций, сталкивал их яростно, хлестко, доводил до предела страсти, а мысль отшлифовывал до полного блеска — последние его работы воистину концентраты мысли! Отсюда понятны претензии некоторой части критики и читателей, не пославших за его движением или в силу своих представлений вовсе не способных принять «нового» Тендрякова.

О НЕМ много писали, пишут сейчас и будут писать всегда. Потому что злободневное, синопсичное каким-то чудесным образом прорастает у Тендрякова во всеобщее, постоянно, вечное. Я не знаю, как это происходит, не критик, но знаю, что это так. Большинство